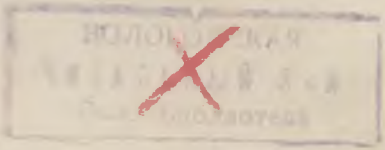
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

О НЕМЦАХ

31207



ОГИЗ
ГОСПОЛИТИЗДАТ
1943

ИЗДАНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ
ВОЙНА
1941-1945

О НЕМЕЦКОМ САДИЗМЕ

В маленьком тихом немецком городке Мюнстербурге жил старый холостяк по имени Денке. Он любил розы и капусту. Жители городка считали его добродушным, безобидным человеком. Однажды в 1924 году из этого уютного домика с дикими криками выскочил человек в разодранной одежде. Он вопил, что его хотели убить, и убить хотел не кто иной, как сам Денке. Вопивший оказался нищим, которого пригласил в домик Денке. Его забрали в полицию и сначала не поверили ему, решили, что он возводит поклёп на тихого старичка. Но он так клялся и так подробно рассказывал о том, как его душил Денке, что старичка под ропот его соседей пришлось арестовать. В тюрьме он повесился.

Тогда пришли в его домик и там обнаружили, что всю жизнь в Мюнстербурге жил людоед. Он жрал людей. Он сожрал уже около тридцати человек. Убивал он с садистской немецкой аккуратностью. Он завёл специальный гроссбух, куда по графам заносил все сведения о жертвах. Он записывал день рождения, местожительство, занятие сожранных. Он взвешивал их и заносил по графам: мёртвый весит 122 килограмма, голый — 107, выпотрошенный — 83. Из кожи он делал подтяжки и переплёты для книг своей библиотеки, из костей точил пуговицы и шахматы. Мясо

он солил, кормил свою собаку, ел сам и продавал под видом свинины своим согражданам. Зубы он коллекционировал: задние клал отдельно от передних, плохие отдельно от хороших. Все это он хранил в банках и пакетах. И все считали его мечтательным, спокойным немецким чудаком. А этот чудак устраивал кровавые пиршества, потрошил людей, как кур.

Жажда зверства, овладевшая им, всё росла и росла. Он не мог остановиться. Если бы ему позволили, он сожрал бы всех жителей городка. И это было не в средние века. Это было менее двадцати лет назад.

Менее двадцати лет назад кровавый фашизм начал свою людоедскую работу так же подземно, тайно, как Денке. Потом он вышел наружу. Разве фашистская Германия Гитлера не похожа на этого людоеда со своим «государственным» садизмом, со своей жаждой крови, зверств, казней? Разве она не имеет своих гроссбухов, куда тщательно заносятся её жертвы? Она записывает все невольничьи кости покорённых народов, она записывает «пушечное мясо» своих вассалов и тощее мясо рабов, привезённых на невольничьи рынки Германии, где их взвешивают в одежде и голыми (как это делал Денке), прежде чем присудить к распределению на уничтожающей каторжной работе. Она, эта фашистская Германия, ставит своей задачей истребление целых народов. И она, как Денке, притворялась годами, пыталась изображать мирную страну, увлечённую повседневной работой. Туристы приезжали любоваться сентиментальной тишиной романтической страны. В один прекрасный день людоеды Гитлера ворвались в дома соседей, перешли все границы и начали кровавую вакханалию.

И тогда все увидели, что это—страшное племя садистов, которое долго обманывало мир и, наконец, явилось открыто со своими требованиями на мировую власть. «Третья империя» Гитлера воспитала все садистские инстинкты немцев, доведя их до умоисступления. Один из помощников фюрера, Раушнинг, писал об этих людях: «Растёт поколение, для которого всё человеческое является чуждым. Люди, которые созданы, как какие-то патентованные машины, люди, у которых моральные сдерживающие центры отсутствуют и духовная личность которых парализована: животные, живущие лишь текущим моментом, без будущего и без надежды и специально созданные для этого, как живые совокупности мышц и нервов».

Садизм всегда сидел в существе немецкого характера, но его прятали, как прячут идиотов или сумасшедших. Он вырывался изредка наружу. А теперь он получил полные права.

Извращения, жившие в немецком быту, были знакомы издавна. Ещё в девяностых годах прошлого века Октав Мирбо рассказал о своей встрече с французом, долго жившим в Германии. Этот француз говорил: «Немцы по натуре педантичны, бестактны, безвкусны, и у них самый разврат происходит по правилам науки».

Мы помним немецких лейтенантов, описанных Мопассаном и Золя, которые из садизма закладывали маленькие мины под горки фарфора и садистски издевались над оккупированными жителями. В немецкой дисциплине, тупой и идиотской, нашло своё отражение это садистское чувство покоряться кнуту, окрику, палке, благоговеть перед топором палача, падать в пыль перед обожествлённым фюрером, обожествлять какую-

угодно власть держиморд и убийц, увешанных орденами и украшенных мишурой.

Растление шло отовсюду. Современный председатель фашистского союза писателей Ганс-Гейнц Эверс печатно признавался, что писатель — это проститутка, которая служит кому угодно за деньги.

Немецкий садизм был смешан с палаческой сентиментальностью. Если Денке любил нюхать розы после того, как сжирал очередного немца, то Гитлер увлажнённым взглядом смотрит на клетку в Берхгесгадене, где у него поют за решёткой восемьдесят птиц, свезённых из разных стран. Этот палач плакал, когда одна из пленниц околела. Люди для него — навоз, немецкая грязь, из которой он лепит всё, что ему угодно, а птички — это неведомые создания. Ах, птички! Околевшей птичке он велел поставить памятник.

Если Денке был суеверен и боялся разбитого зеркала, то людоед Гиммлер, бледный, как вампир, с накрашенными губами, молчаливый, как застенок, имеет одну странность — это цифра «три». Он должен за столом сожрать три яблока, три картофелины, иметь при себе три носовых платка, вызывать трёх палачей-сотрудников, если ему нужен один, убивать трёх, когда ему нужно убить одного. Суеверие обязывает. Он пьёт в день три стакана бычьей крови.

Весь фашистский сброд подражает кровожадности и садизму своих фюреров. В концлагерях излюбленным приёмом издевательства служит шутка такого рода. Долго содержавшемуся в заключении и прошедшему небывалые издевательства человеку объявляют, что его выпустят. Он должен пройти ряд формальностей, прежде чем

ему вручат бумагу об освобождении. Несчастный несколько дней живёт мечтой о ждущей его свободе. Потом, достаточно натешившись над ним, ему объявляют в самой грубой форме, что никто не думает его освобождать, и издевательства ещё более усиливаются. Палачам доставляет садистское удовольствие применять все чудовищные пытки, все способы глумления над своими жертвами.

Всему миру теперь известно, как эти людоеды и садисты расправляются с населением захваченных ими городов и сёл в Европе и у нас. Виселицы, расстрелы, костры — это только широкая часть их программы. Они вырезают ремни из спины своей жертвы, они забивают гвозди в голову. Насилуя женщин и девушек, отрезают им груди и носы, распарывают животы, сажают людей на кол, раздирают танками, давят грузовиками. Они посылают женщин на минные поля, называя это садистски миноискатель образца 1942 года. Они убивают на весу из пистолета грудных детей, подняв их над колыбелью.

Загнав в публичный дом девушек, они устанавливают плату: 5 марок за посещение. Две марки они высчитывают за содержание своей жертвы, три — на зимнюю помощь германской армии. Их новоявленные помещики, которым дарятся крепостные — колхозные крестьяне,— говорят крестьянину, который, по их мнению, уклонялся от работы: пойди в лес, вырубн палку, этой палкой я буду тебя бить. И когда несчастный приносит палку,— он не может не принести, иначе садист убьёт всю его семью,— немец говорит, что эта палка плохо обстругана. Надо её получше обстругать, чтобы он, палач, не исцарапал своих рук.

Старуха, у которой лисица украла курицу, пришла сказать об этом, так как не могла больше доставлять яйца немецкому палачу. Немец сказал сочувственно: «Лисица съела курицу. Ай, ай, ай! Пойди в комендатуру, тебе дадут другую». Он написал записку, и старуха шла десять километров до комендатуры, где садист другого ранга, прочитав записку, избил старуху до потери сознания.

Эти садисты всюду одинаковы. В Варшаве они под видом раздачи хлеба населению кидали в грязь куски хлеба и снимали изголодавшихся людей, бросавшихся за хлебом в грязь. В Двинске они отравили множество детей, сказав, что на них жалко пуль. Перед этим они расстреляли их родителей. В Париже они сняли все памятники под видом поисков металлического лома. Этим они хотели поразить садистски французов, уязвить их национальное чувство, унизить их гордость, уничтожая памятники лучшим представителям французского народа.

Они добивают своих раненых, чтобы не возиться с калеками. Между Норвегией и Германией постоянно курсирует пароход «Гитлер». Это — госпитальное судно, перевозящее раненых в Норвегию. Но пароход всегда приходит пустым. На него грузят тяжело раненных, которые находят своё успокоение на дне пролива в ночь переезда. Это страшный пловучий дом смерти.

Садисты громят Ясную Поляну и домик Чайковского, оскверняют могилу Шевченко, разрушают дворцы под Ленинградом и старые памятники древности русского народа.

Для этих скотов не существует человеческих чувств. С каким-то особым, палаческим сладострастием они пытают детей и женщин, раненых

и больных. Будь жив Денке, людоед из Мюнстербурга, он был бы у них не последним человеком.

Чудовищные преступники уничтожают всё живое на нашей земле. Всё, что было болезненно преступного в немецком народе, всплыло наверх, получило жуткую власть, называемую фашизмом. Неутолимая потребность рвать человеческое мясо, крошить человеческие кости, с визгом упоения слушать стоны своих жертв живёт в этих человекоподобных, которые называются немцами. Эти людоеды имеют чины, раздают друг другу ордена за преступления против человечества, «организовывают» имения, говорят о будущем владычестве над всем миром. К садистскому бреду присоединяется бред сумасшедшего. Весь мир кажется им застенком, где они купаются в крови.

Римский император Каракалла, человек преступный и разнузданный, устав от казней, пресыщенный ими, воскликнул: «Как жаль, что человечество не имеет одной головы. Я бы отрубил её, одним ударом кончил всё разом!» Немецкие садисты против быстрого истребления. Они хотят мучительными, долгими казнями и истязаниями истребить народы. Им надо наслаждаться пытками, длить их, взвешивать мясо своих жертв, пилить их кости, употреблять их в хозяйстве, как Денке, у которого ничего не пропадало даром: из кожи выходят неплохие подтяжки, из остатков кожи — шнурки для ботинок.

Этот страшный мир палачей-садистов должен быть уничтожен. Не может быть пощады бешеной собаке, бросающейся на людей. Но они в тысячу раз опаснее, хуже, отвратительнее бешеного зверя. Они — сумасшедшие особого вида, им нет места ни в одной больнице, их место в

могиле, в безвестной яме. И чем скорее, тем лучше. Их нужно истребить без остатка. Людоед Денке повесился. Эти не повесятся. Их нужно кончить самим, иначе они сожрут половину человечества, чтобы пытать другую безнаказанно.

Во имя человечности нужно истребить фашистских людоедов во главе с их кровожадными главарями, чтобы не оставалось и следов этой страшной заразы, не имеющей подобного во всей мировой истории.

НЕНАВИСТЬ

Малярийный припадок жестоко терзал Андрея Андреевича. Всю ночь он обливался холодным потом, проваливался в какую-то бездну, мучившую его бредом. В этот бред входили причитания его квартирной хозяйки, громкие выстрелы, крики на улице, и от всего этого тоскливо замирало сердце, а сознание заволакивал туман.

Теперь он сел на постели, откинув одеяло, и тусклыми глазами смотрел на разбитое окно, с которого упал горшок с жасмином, на красный черепок, отколовшийся от горшка, на занавеску, раздуваемую ветром.

Он добрёл до окна и, вцепившись худыми пальцами в подоконник, смотрел на хорошо знакомую улицу, как на продолжение бреда: через два дома, на той стороне догорало какое-то пожарище, на улице валялись груды вещей, а на углу стояли два солдата в зелёных куртках с ши

рокими касками на головах. Они постояли, посмотрели по сторонам и свернули за угол.

Значит то, что кричала ему его квартирная хозяйка вчера, не было сном, значит в городе немцы. От этой мысли он похолодел. Воспоминания проносились в нём роем. Он свалился, когда около городка шли бои, бомбы падали на улицы и снаряды рыли землю в садах и пробивали крыши. Потом был малярийный бред, когда он ничего не разбирал от слабости и только думал, что с сестрой и двумя её девочками, успели ли они уйти. О самом себе у него не было мыслей. Он так ослаб, что с трудом оделся и, взглянув мимоходом в зеркало, увидел сине-зелёные, провалившиеся щёки, отросшую за время болезни бороду грязного рыжего цвета, пепельные губы и воспалённые глаза.

Дом был пуст. Во всех комнатах были открыты шкапы и ящики, разбиты окна.

Он помнил только одно: надо найти сестру и помочь ей. Шатаясь, он вышел на улицу и побрёл к парку.

Первый труп он увидел на углу. Человек в сером пиджаке лежал, раскинув руки, лицо его было рассечено длинным шрамом, на груди запеклось кровавое пятно. Он нагнулся, сам не зная, зачем это делает, и вгляделся в лежавшего. Он узнал продавца из паркового ларька. Карманы убитого были выворочены.

Андрей Андреевич, сжав зубы, заковылял дальше. Со звоном летели стёкла над его головой, и в окно высунулась женщина с развевающимися волосами, кричавшая что-то безумным голосом. Чьи-то руки оттащили её от окна, и крик оборвался, наступила тишина. В этой тишине услышал он звуки непрерывной стрельбы, которая то

росла, то утихала, и в ту же минуту кто-то крикнул на него с такой злобой, что он нагнул голову и бросился в соседний двор. Вслед ему провизжали две пули. Он пробежал двор, он знал тут каждый угол, каждый поворот, он пробрался между сараями и в дыру в заборе вышел в переулок.

Прислонясь к стене, он остановился, тяжело дыша. Теперь он уже не шёл открыто. Он крался, оглядываясь по сторонам, и когда видел зелёные куртки, прятался с удивлявшим его самого проворством. Он уже не считал встречавшихся мертвецов. Он видел убитую женщину с ребёнком и задрожав перешёл на другую сторону. Видел повешенного, висевшего на телеграфном столбе с какой-то бумагой на груди, мальчика, лежавшего в луже крови, и рядом с ним сломанный велосипед.

Он знал только одно: он должен найти сестру, увидеть её и девочек или узнать, что с ними. Он прошёл в парк. Разбитые снарядами вековые деревья остановили его внимание. Он шёл не дорожками, а крался по кустам. Он увидел дымящиеся руины там, где стояло чудесное здание старинного театра, кое-где ещё огонёк бегал по чёрным нагромождениям балок и досок, дым подымался к небу.

И снова на него закричал часовой, и он, не дожидаясь повторного окрика, бежал изо всех сил.

И всюду, куда он ни бросался, он видел пожарища и трупы, встречал странную тишину, и только далёкий рёв канонады как бы обрамлял мрачное убожество разрушений.

Не раз он падал от слабости, руки его были исцарапаны. Он сел на краю канавы, но мог думать только о своих маленьких племянницах, ко-

торых он не может отыскать. Он мельком видел их улицу, состоявшую из развалин, по которой бегали люди в зелёных куртках и таскали какие-то вещи, грузили их на грузовики, хрипло кричали друг другу и возились у машин.

Он понял, сидя на краю канавы, что он, несчастный, задавленный болезнью человек, бывший почтовый чиновник, бессильный, старый — во власти этих зелёношкурых зверей, которые могут каждую минуту, походя, убить его, и он ничего не может им сделать. Он заплакал и сидел, не вытирая слёз. Он не мог больше смотреть на трупы и пожарища. Его милый, чудесный городок умирал у него на глазах. И ему захотелось до боли увидеть своих маленьких племянниц, которых он любил больше всего на свете. Он вышел из канавы и пошёл твёрдыми короткими шагами прямо по середине улицы.

...Перед немецким комендантом стоял седой, измазанный грязью человек, с блуждающими глазами, трясущимися руками, повторявший только одно: «Отдайте детей, отдайте детей!..»

Сухой широкоплечий немец сказал вертлявому человеку в чёрной одежде, чтобы он перевёл ему, чего хочет от него этот старик.

Узнав, он расхохотался деревянным смехом и, прервав смех, строго взглянул на Андрея Андреевича. «Это глупая шутка»,— сказал он по-немецки, но тотчас же, встретив неподвижный взгляд широко открытых глаз, уставившихся на него с отчаянием, вызовом и упорством, он нахмурил брови, ещё минуту рассматривал фигуру пришедшего. Потом гримаса отвращения и презрения обозначилась на его резком лице. Он взял блокнот, вырвал из него листок, набросал не-

сколько строк и протянул его Андрею Андреевичу.

— Это сумасшедший, — сказал он переводчику, — откуда я возьму ему детей! Пусть это животное бегает и ищет их, если хочет...

Андрея Андреевича вытолкали вон прикладами, а он не чувствовал боли от ударов. Сбежав со ступенек, преследуемый глумленьем солдат, которые старались ударить его побольнее, он крепко зажал в руке бумагу и снова отправился на ту улицу.

Теперь на оклики часовых он протягивал бумажку, и те читали её и пропускали его. Он пришёл к дому с чёрного хода. Но там, где был чёрный ход, дымились два столба и высокая труба торчала из развалин. Он сел на камень и смотрел на пожарище, точно кто мог высунуться из груды углей и рассказать ему о сестре и племянницах. Его окликнули. Он оглянулся.

У соседнего пожарища какая-то женщина тихо манила его к себе. Она сидела, скрытая полуобвалившейся стеной, и когда он подошёл и сел рядом, то увидел провалившиеся глаза и лицо, мокрое от слёз.

— Где они? — спросил он. — Аннушка где? Катя? Тоня? Они ушли?

Женщина отрицательно покачала головой, и слёзы ещё быстрей побежали по её лицу. Она показала рукой на груду углей и сказала, всхлипывая:

— Тут, тут, все тут...

Он смотрел, куда она показывала, и видел только угли, балки и обгорелую ветошь. Женщина шептала, судорожно кривя рот:

— Они пришли и пожгли всё, пожгли, никого не выпустили, все сгорели... все!

Ему показалось на секунду, что припадок малярии возвращается, но это было стремительное головокруженье, от которого и развалины и женщина зашатались, поплыли и стали распадаться в воздухе.

Когда он пришёл в себя, он сидел на земле среди углей. Никого не было. Женщина ушла. Он брал в руки пригоршни остывших углей и пересыпал их, как дети играя пересыпают песок. Он закрывал глаза, и ему казалось, что он гладит светловолосые головки своих племянниц, он слышал их весёлые голоса, видел их светлые комнаты, их тетради, их книжки, их маленькие беленькие кроватки. Он открывал глаза, и руина, стоявшая перед ним, точно делалась всё больше и больше, закрывая деревья.

Он вспоминал любимую сестру и даже тихо сказал: «Анна!» Перед ним, у ног лежал клочок бумаги. Он поднял его и стал рассматривать, как будто видел в первый раз. Сейчас он пробовал прочесть его — когда-то в молодости он изучал немецкий,— но теперь многое перезабыл и понял только, что немец называет его животным. Он отбросил листок от себя, и сердце его разрывалось от ненависти. Пойти обратно в комендатуру и убить, задушить этого зверя в зелёном мундире! Но разве он сможет это сделать своими слабыми руками, разве его снова пропустят? Его убьют, как того продавца, или повесят, как того, на телеграфном столбе. Он сидел, обхватив колени руками, и, точно исповедуясь перед этим пожарищем, просматривал всю свою жизнь, трудовую, простую, честную жизнь рядового русского человека. Он с удивлением замечал, что, по мере того. как он всё яснее и яснее вспоминает прошлое, такое близкое, такое хорошее, — мысль

его как бы трезвеет и он сам становится спокойнее.

Он подобрал бумагу, снова зажал её в руке и тихо побрёл прочь. Но куда бы он ни отходил, он, как по кругам, возвращался к этому месту. Он исходил весь городок, но теперь шёл, смотря испытующе, исподлобья, и всё замечал. Он замечал, где остановились танки, где грузили машины, где расположились солдаты, где стоял штаб и часовые никого не пропускали, где поместились пушки, прикреплённые к автомобилям. Он всё запоминал, но с виду походил на сумасшедшего сейчас гораздо больше, чем утром, когда он начал своё мучительное путешествие.

Много раз его били солдаты, издевались над ним, плевали ему в лицо, щипали его, хватали за волосы,— он смотрел молча и только протягивал бумагу. Глаза его налились кровью, и сердце билось где-то у горла, он тяжело дышал, но шёл и шёл по улицам, как заведённый. Его затащили в дом пьяные солдаты и дали ему пить уксус. Он выпил полстакана и вытер губы. Они захохотали, хлопая себя по коленкам, радуясь своей выдумке.

Они вывели его на двор и обливали холодной водой из колодца. Уже стемнело, и они заставляли его прыгать через палку, и один из них колол его штыком в спину, когда он медлил.

Он прыгал с высунутым языком, им нравилось его безумие, и они долго не отпускали его. Только когда явившаяся новая толпа приволокла с собой двух дико кричавших девушек, они бросили его, и он ушёл, шатаясь.

Всё его тело ныло, руки и ноги болели, голова шумела, горло разъела уксусная горечь. В последний раз пришёл он к развалинам знакомого дома

и встал на колени. Он стоял, как перед могилой, склонив голову, молча. Но это уже был другой человек. Тот, утренний, больной, слабый, не знавший, что делать от отчаяния, человек исчез,— перед грудой потухшего угля стоял человек, которому не была страшна никакая боль, никакое мученье, никакое издевательство. Он встал, сделал ещё один большой поклон и согнувшись пошёл между развалинами.

...В штаб он пришёл поздно ночью. При свете «летучей мыши» он сказал, сжав кулаки:

— Я всё скажу, где что у них. Убейте их всех, пожалуйста, убейте их всех! Должно же быть возмездие!

— Сидите, сидите,— сказали ему.— Ваши сведения очень хороши. Спасибо! Но вы дрожите, у вас лихорадка, вы больны?

— Нет,— сказал он,— я не болен. Я их ненавижу. Если бы вы знали, как я их ненавижу!

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

О НЕМЕЦКОМ САДИЗМЕ 1
НЕНАВИСТЬ 8

Редактор В. ИГНАТЬЕВА

Подписано в печать 19 мая 1943 г. Тираж 50.000 экз.
А 371. Заказ № 1091. Объем ½ печ. л. Цена 20 коп.

Тип. газ. «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 20 коп.